

Независимая газета. — 1993 — 10 февр. — С. 7.

ВЕСЕЛОЕ ИМЯ: ПУШКИН

Посильный вклад в Пушкиниану

Александр Вальцев

Exegi monumentum

ПУШКИН — одно из первых детских воспоминаний. Это почти одновременно с умением говорить. Где-то рядом с «Мойдодыром», но раньше «Робинзона Крузо». Под Пушкина, под музыку его стиха начиналось наше «все». Так нам повезло! «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У Лукоморья дуб зеленый...» Невозможно представить, что когда-нибудь можно было жить без этого дуба!

Жизнь любого русского связана с ним по праву рождения, как первый живой опыт («Тебя, как первую любовь...»). Россия — единственная страна, где поистине не дано знать или уметь что-нибудь, что освобождало бы от чтения Пушкина.

Пушкин — основа нашего доверия к себе. С кем сравнить его? С Моцартом? Невозможно. Есть Моцарт и есть Бах. Но рядом с Пушкиным никого: Пушкин — и вся остальная литература.

И вот от великой любви к нему мы стремимся наделять его нужными нам чертами: раньше он был безбожник и декабрист, теперь — монархист и верующий. Ах, если бы все было так просто. Но с каким живым интересом мы относимся к Пушкину! Он воистину жив, он даже умудряется менять облик. Вот только новых стихов не пишет. Да и зачем, если вся жизнь уже и так включена в круг пушкинских цитат:

Парки бабье лепетанье...

И все, и довольно. Нет, Пушкин не декабрист, не верующий. Хорош декабрист, хорош верующий, сохранившийся для русской культуры благодаря какому-то зайцу!

Да и кем не был Пушкин! Он как Протей: ему подходят любые личности. Он и масон и ловелас, он либерал и аристократ, вдумчивый историк и революционер, философ, игрок, просто добрый малый. Он урод, но женился на первой московской красавице, он карлик, но в нем, говорят, было 167 см роста — не так уж мало для его эпохи. Он презирающий свет поэт-отшельник — и он же светский лев, любитель гостиных, любитель ресторанов и цыган, оставивший после себя 120 тысяч долга.

Пушкину позволено все: первому торговать стихами и брать деньги даже за точки, браниться, жить со свояченицей (по крайней мере по слухам), «по праву русского дворянства» не платить другим долгов, кроме карточных, почему зря посылать картели, прыгать в гостиную через столик, в одиночку атаковать турок на Кавказе. Он был патриот, гревшийся «географическими фанфарами», и ругал Россию, не раз всерьез подумывая покинуть ее («черт догадал меня родиться в России...»).

Он был свободный художник — и пел хвалу цензуре («Что нужно Лондону, то рано для Москвы...»). Он святотатствовал («Забудь еврейку молодую // Младенца-бога колыбель...»), он перелагал молитвы («Отцы пустыньники и жены непорочны...»), он «подражал» Корану, он воспевал пьянство и кутежи (ибо: «Парнас не монастырь и не гарем печальный...»).

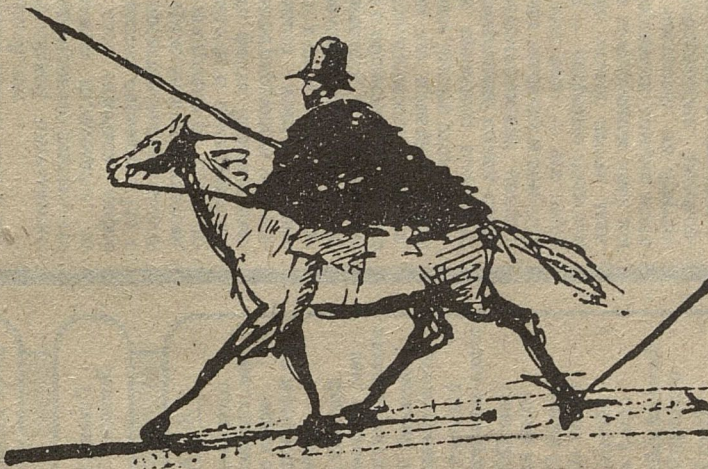
Он драл у других: у Жуковского («гений чистой красоты»), у Вяземского (ср. «Первый снег» Вяземского и «Зимнее утро» Пушкина, «Метель» Вяземского и знаменитых «Бесов» Пушкина) и у всей европейской литературы сразу.

Но все это тут же становилось Пушкиным и известно нам только через Пушкина.

Пушкин, может быть, главный русский святой, признанный, но не канонизированный. Никто не сделал столько для славы России, как Пушкин. И никто не удостоился здесь такой любви и славы. Его любили при царе, любили при большевиках, причем он сам, возможно, не любил никого и жил, с точки зрения моральных норм, весьма предосудительно. Но у него был дар слова, запомнившийся больше казней, градостроительства, славных викторий. Какой святой может похвастать этим? Предположим, что все это он делал силой Князя бесовского (неспроста о Матфее Константиновском, как рассказывают, требовал от Гоголя отречься от Пушкина), но тогда слишком много в России от сатаны, что составляет всю ее любовь, и славу, и богатство.

Декаденты начала века полагали несколько иначе, отчего и избрали в «вожди» Лермонтова, с которым, как они считали, им будет легче отказаться от христианства. Лермонтов стал для них антиподом, негативом Пушкина, Ночным светилом русской поэзии — в противоположность Дневному свету, Пушкину. Но, объективно, что есть в Лермонтове, чего не было бы в Пушкине? Этот пресловутый демонизм, байронизм, романтизм?.. Но сколько было в Пушкине помимо этого! Да, как и положено, Пушкин «исповедал» демонизм, но какой особый это был демонизм: не лермонтовский, не байроновский.

В своей Пушкинской речи Достоевский делает одно интересное



Автопортрет Пушкина

сближение: Алеко и Онегина. И верно, все сходится: разочарованные, презирают свет, жаждут какой-то правды... Классический набор романтических ценностей. Но откуда эта патологическая тяга к убийству? Вся их мировая тоска, все их «прогрессивное» историческое стремление нашло выход у одного в убийстве возлюбленной, у другого в убийстве друга. Странно как-то мыслям Пушкин.

Нет, Пушкин не оправдывает своих отщепенцев, своих Каинов и Манфредов, вззирающих на мир с презрительной миной и проводящих время в жестоких забавах. В этом большая разница. Для Лермонтова — чарующий (и несчастный) демон, для Пушкина — чарующий и ...?

Что нам хотел сказать Пушкин, кого мы видим в тени его фантазии? Мы видим Мельмота-скальпа. Вот чей образ преследовал Пушкина, чье имя вместе с именем автора не раз мелькает в пушкинских стихах. Наполеоновская личность, гений злодейства, сильный, сложный и притягательный, умом отказывающийся от следования добру и проклятый за это.

Возможно, это то, что Достоевский подсмотрел у Пушкина, создавая своего Раскольникова. Манфредизм в каинском исполнении — вот что увидели выдающиеся русские умы в sometimes great notion. Стереоскопическое



Пушкин и Онегин на набережной Невы

Рисунок Пушкина зрение Пушкина сумело сделать эту важную оптическую поправку в созерцании общего кумира, ту, которую не смогли оценить декаденты, воспевающие веселый хаос и горящие знания (из которых чуть позже еле-еле успели выбраться).

В продолжение сравнения наших поэтов интересно сопоставить двух «Пророков», пушкинского и лермонтовского, начатого Левою Одоевцевым из «Пушкинского дома» Битова. Лермонтовский пророк брюзжит и жалуется на непонимание и преследование. У пушкинского об этом ни слова. Его волнует лишь диалог с Богом. В теме пророка Пушкина заинтересовал процесс получения дара, таинственная метаморфоза. Лермонтова — суетная проблема, как донести пророчество до лю-

дей. Пушкину ни к чему об этом думать. Он не сомневается, что коли дар был дан, то он был дан почему-то, и все остальное уже не важно. (Спасибо цензуре, спасшей гениальное стихотворение от последней «лермонтовской» строфы.)

Ох, какая бестия этот Пушкин, как он всегда выходит сухим из воды и оказывается прав!

Сколько раз его переоценивали, низвергали. В 1923 году в маяковском ЛЕФе Пушкин был причислен к «недо-тыкомкам-белогвардейцам» (после этого, как само собой разумеющееся, воспринимается наречение Бальмонта, Брюсова и Ахматовой «запесневевшим российским Парнасом»). Впоследствии большевиков потянуло на классицизм. Пушкин был воскрешен, «преумножен», оправдан...

Связать имя поэта с политическим движением — это скорее унизить его, как унижает всякого настоящего художника измена тихим радостям общения с музой. Сейчас мы переживаем очередной момент «поумнения». Михаил Гаспаров нашел новое, философское «опровержение» Пушкина. Мол, нет никакого Пушкина, но лишь наше мнение о нем, и что, не будь Пушкина, нашим Пушкиным стал бы Жуковский (и так далее, вероятно, вплоть до Мятлева?).

Странно, все, что Ст. Рассадин

смог возразить на эту чисто базаровскую мысль, — было одно бездарное: «проверено временем». Пробный камень времени ничего не доказывает: есть авторы уважаемые, но нечитаемые (the Great Unread Book), со скукой созерцаемые. И есть авторы гениальные, но малоизвестные в силу ранней смерти, пребывания на краю культурной ойкумены, других причин.

Следуя логике Гаспарова, не Пушкин был гениальный поэт — но мы, так как сумели оценить талант по установленной нами абсолютной шкале. На самом же деле планка была поднята не нами, но именно Пушкиным. Вот и получается, что велик все-таки тот, кто развил нам слух, произнес первое слово — для нас, об этом слове до того и не подозревавших.

Потеря интереса к Пушкину — это лишь другое слово для обозначения потери интереса к поэзии вообще.

То, что сейчас все наперебой жалуется на упадок интереса к поэзии, — странный курьез. Стихи нужны максимум трем процентам человечества. Лишь для них стихи становятся той «лингвинистической неизбежностью», о которой говорил «поэти-лауреат» и хранитель Библиотеки Конгресса США. И не потому, что это соответствует пропорции между тонкими ценителями и толпой. Любовь к поэзии во многом — ущерб души, она ненормальна. Для поэзии нужен идеализм духа, бездомность, непрактичность. Поэзия — это сады, каналы, полутень, то есть то, чего так мало в жизни, да и не нужно почти, враждебно ее трезвому благополучию.

В пушкинские времена стихи писали аристократы. Это аристократическое занятие. Не то теперь... В писании стихов теперь есть что-то стыдное... Или нас так воспитали? Сообщить, что ты пишешь стихи, — словно признаться в дурной болезни. Кому интересны стихи, зачем они нужны? Имя поэта еще что-то значит. Сам поэт давно не значит ничего. Да, бывают периоды любви и не любви к стихам, но настоящей, всеобщей любви, вроде всенародной любви к авиации, не бывает никогда. Писание стихов — это отчасти сектанство, странная потребность души, известная лишь мучимому той же болезнью.

Почему любить стихи? В стихах есть изысканность мысли и намек на жизнь невидимую и прекрасную. Стихи — это складки и драпировки, воздушные тяготения и наклоны тел. Это то, что на периферии жизни и немного над бытием. Что удалилось от него в прекрасную полутень. Стихи — это повествование о полумрачных и необязательных моментах жизни, очарование предграничий, сумерек и ранних рассветов. Стихи увлекают наше внимание в Вечность, из которой произошли.

Верная мысль имеет свойство звучать, у нее есть это музыкальное измерение, так же, как звучат ноуменальные сферы Пифагора. Верное звучание, верная интонация мысли — и есть стихи.

И вот этой верной интонацией Пушкин обладал в высочайшей степени.

156 лет мы живем без него. Живем в классическую эпоху, ту, что была у греков после Еврипида и у римлян после Катутла. Оторваться ли от ранней смерти, сожалеть ли об утрате большего?

Нет. Ведь поэзия — это мелодия, сыгранная всего на двух струнах: жизни и смерти. И смерть поэта — это довод именно поэтический. Поэт не утоляет жажду, он рождает ее. После поэта остаются жаждущие.